

Лидия  
САВЕЛЬЕВА  
г. Петрозаводск

# ДВИЖЕНИЕ ГОРИЗОНТА

Блаженство тела – здоровье,  
блаженство ума – знание  
**Платон**

## Новые учителя

**М**ое обращение к началу средней школы невольно всколыхнуло в памяти чувство разительного отличия ее от школы начальной, которое было похоже на революцию детского сознания. Вспоминая об этом теперь, понимаю: как бы ни слабо был связан ученик с первым учителем, как бы ни велик был класс, какие бы отношения у них ни складывались, пятиклассник ведь переходит от одного типа педагогического процесса к другому, от учительского одноголосия к полифонизму, когда театр «одного актера» сменяет целая их труппа. А если прав Д. Писарев, что в воспитании все дело в том, кто воспитатель, то как может не совершить переворота эта огромная перемена в повседневной жизни растущего человека?

Не мудрено, что я, во-первых, ощутила какое-то облегчение, освободившись от абсолютизма в оценках и суждениях, от привычной монополии на правду со стороны нашей единственной учительницы первых четырех лет. Если я еще не понимала

этого, то хорошо чувствовала. А главное, во-вторых, с трепетом и замиранием сердца ждала я новых своих наставников и сразу же была заинтригована их разными характерами, темпераментами, разным возрастом, уровнем требовательности, умением выслушать и понять. Даже смешно вспомнить, как жадно душа моя ждала нового! В первое время сам перечень учебных предметов для меня звучал как музыка. А перспектива узнать больше, подробнее, точнее, познакомиться с таинственными науками, названия которых так интриговали на новеньких учебниках, радовала меня сразу по двум причинам. Не только из-за этого сладостного предвкушения новой пищи для ума, но и как будущее близкое знакомство с новыми учителями, которые казались тоже необычайно загадочными, какими-то жителями другой планеты!

И вот это двойное и параллельное чудо узнавания началось...

Замечательно, что классным руководителем у нас оказалась самая главная в те времена учительница, то есть по русскому языку и литературе. Это была Прасковья Петровна Горюн – молодой, но далеко не начинающий педагог после, кажется,

Окончание.

Начало в журнале «Север» №11-12 за 2017 год.

Харьковского учительского института. Мое восхищение ею в первый день было так велико, что даже мой брат через много лет однажды при случае напомнил мне о нем! Я взалхлеб рассказывала дома о том, как она знакомилась с классом. У нее были вопросы к нам, девочкам, совсем не такие, как у Анны Яковлевны. Разумеется, сейчас в памяти не все они, но эти уж помню точно: Не жаль ли, что кончились каникулы? Где вы их провели и с кем? Сумел ли кто-то из вас побывать и в другой стране? И даже сразу в нескольких странах? Кого же благодарить за чудесные путешествия по миру? А может быть, и во времени?

Она вела себя тогда совсем не как учительница, а как будто действительно сочувствовала нам, что кончилась наша чудесная летняя свобода, впереди – серьезные будни. Почти на каждый ее вопрос поднимался лес рук, а она только радостно ждала ответов, запоминала имена и просила простить, что сегодня не может всех дослушать до конца. Помню, как все замолчали в замешательстве, когда она предположила, что кто-то на каникулах ездил за границу, но когда она сказала про «несколько стран», руку подняла... одна я, догадавшись, что речь идет о книгах, и назвала почему-то морские путешествия на фрегате «Паллада» Гончарова и крейсере «Забияка» Станюковича. Это было первый раз, когда о книгах – разных, совсем не по программе – вспоминали, их кратко характеризовали и даже говорили об авторах! Тогда же для себя я выяснила, что большинство класса много и с удовольствием читало пионерские повести, но не давало труда себе запоминать их автора (то, что у нас дома было, конечно, само собой разумеющимся). И Прасковья Петровна, к удовлетворению моих родителей, весь класс пожурила: «Это очень обидно писателям, что вам все равно, кто там из них писал о Ване Солнцева, а кто о Томе Сойере. Ведь это они придумывают своего героя, дают ему имя, дарят ему друзей... Не знать авторов – очень и очень стыдно!» Еще помню, что в тот день я взяла себе на заметку жюльверновского «Пятнадцатилетнего капитана», который уже был знаком нашей Рите Довгаль, а как же это я... все еще не читала, упустила книгу с таким завлекательным, многообещающим заглавием!

Действительно, наша первая встреча с Прасковьей Петровной была просто волшебной, да и первые уроки всех нас настроили на доверительность с классным руководителем, на благостное и мирное погружение в заманчивый мир книги с таким легким, все понимающим учителем, настоящей голубицей.

Но... не тут-то было... Очень скоро мы почувство-

вали, что попались на удочку в очень цепкие руки человека железной хватки, на уроке которого нельзя и пикнуть. Если бы какая-нибудь сумасшедшая муха и залетела бы в класс, то она бы точно сложила крылышки под взглядом ее огромных черных глаз с буравчиками, которые вонзались в нарушителя учебного режима с такой выразительностью, что душа замирала и спускалась куда-то туда, явно ниже дрожащих коленок. Все требования нашей учительницы должны были исполняться беспрекословно, каждая из нас должна была подчиняться ее воле, ни на секунду не расслабляясь. Любые разговоры – прекратить, посторонние книги – убрать, письменные домашние задания на следующий день по другим предметам – это «невероятное безобразие, и я его прекращу, будьте уверены!» Помню, один раз я не вовремя улыбнулась какому-то шепоту моей соседки, и мое безмолвное участие в диалоге, да еще и во время о б ъ я с н е н и я, заметила и пронзила многообещающим взглядом Прасковья Петровна! Ничего не сказав, она дней десять карала меня тем, что намеренно смотрела мимо меня и вообще не разговаривала со мной! Она «вспомнила» обо мне только после диктанта, в котором одна я не наделала ошибок. А если бы не это, то у нее хватило бы характера помнить мою вину еще и еще. Позже, уже в 6 классе, она меня таким же образом наказала чуть ли не на учебную четверть, но это уже было безвинно: просто я не должна была задумываться и тем более оспаривать частеречную принадлежность слов «другой» и «тысяча» (небольшие ее не столько практические, сколько теоретические огрехи сейчас объясняю себе неполным высшим образованием). При такой-то дисциплине и обязательных требованиях не только писать четко и красиво (сама она была редким каллиграфом даже мелом на доске), но и грамматически осознанно, не мудрено, что наш класс всегда разительно отличался от трех параллельных на всех общешкольных контрольных и контрольных из горно. В числе методических находок Прасковьи Петровны еще в студенческие годы я в полной мере оценила самую гениальную: она никогда не удовлетворялась ни одним синтаксическим примером без стихотворного текста, причем обычно из классической поэзии Золотова, а то и Серебряного века, то есть из стихов Брюсова, Блока и даже Есенина, Ахматовой, что тогда официально не приветствовалось. (Как же я радовалась тому, что у папы всегда под рукой была большая двухтомная хрестоматия Ежова и Шамурина!). Теперь-то понимаю, что это прививало эстетический вкус к слову, да еще и рождало здоровое соперничество в знании поэзии, не говоря о тренировке па-

мяти и грамматическом осознании пунктуации в стихе. Ко всему этому должна признаться, что первое профессиональное художественное чтение лирики я слышала именно от нее. Так, и сейчас как будто слышу пейзажную зарисовку И. Никитина «Утро» в ее очень тихом и задушевном исполнении, ведь оно само по себе знаменовало шаг в эстетическом воспитании нашего класса. Прасковья Петровна добилась того, что, несмотря на ее свирепожесткий характер (лет через пятнадцать я имела счастливую возможность узнать от нее, сколько при этом было актерской игры в «маске Бабы Яги», как она определила), весь наш класс не только любил уроки русского языка, но и был чуть ли не сплошь грамотным.

Полной противоположностью нашей сверхстройной классной руководительнице и «русачке» казалась нам тогда Г.П.Балковая, наша всеобщая и неизменная любимица. «Галына Петрівна», будучи проводником в мир «української мови і літератури», даже внешне очень отличалась от всегда нарядной и крайне загадочной Прасковьи Петровны. Доброту и понимание, казалось, излучали не только ее прищуренные близорукостью голубые глаза и все миловидные черты лица, но и каждая прядь и каждая деталь ее перелицованного и аккуратного ежедневного костюма, припав к которому, потом изливала душу не одна из моих одноклассниц. Галина Петровна никогда не делала тайны из того, что после гибели мужа на фронте она растит «двох хлопчиків, самі таких, як ви, що тж завжди бажають систи на шию батькам, та ще й дрыгаты нижкамы».

Как учитель она отличалась очень четкими требованиями ежедневного чтения и пересказа своими словами украинского текста, причая вообще-то знающих разговорную речь девочек к литературному украинскому языку. Запомнились ее полные драматизма горестные «розповідання» о судьбах украинских писателей Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Леси Украинки, которые мы слушали затаив дыхание и искренне сострадавая, разве что о нашем земляке И.П. Котляревском и харьковчанине П.П.Гулаке-Артемьевском она рассказывала, умело их цитируя, так, что слушали со взрывами смеха. Всегда спокойная и деликатная, она искренне радовалась малейшему нашему успеху и сочувствовала всем промахам, при этом была очень справедливой в оценках. Так, единственная двойка, которую я заработала в школе, – это двойка от добрейшей Галины Петровны, когда я действительно почему-то забыла выучить наизусть вирш Шевченко «Якбы Ви знали, паньчи, Як люды плачуть уночі...» (помню его до сих пор!). Влепить отличнице, например Раечке Спекторо-

вой, двойку – на это наша Анна Яковлевна была явно не способна, даже если бы та и проштрафилась. Зато Галина Петровна пресекла мою безответственность в зародыше. Но я... что ж, я, как и полагается в 11-12 лет, дома чуть всплакнула... Ведь это было для меня событием! Конечно, никто за отметку меня не ругал (цифры сами по себе никого не волновали), но оба родителя сказали, что Галина Петровна молодец, правильно сделала. Я думала, братец мой рад будет показать мне язык по этому случаю: дескать, не все коту масленица, но он, наоборот, сочувственно поддерживал, буркнул: «Да брось, Лидка, выше хвост! Подумаешь, какой-то вирш! Ха! Да завтра же выучишь!»

Лет двадцать спустя, будучи в Полтаве, я позвонила Галине Петровне, чтобы встретиться, случайно узнав телефон от преподавателя одного из полтавских вузов, который оказался ее сыном. Она очень обрадовалась «Лидочке», припомнив мне и мои косички, и мой жуткий пороссячий визг во время аварийного отключения света (тогда на ее возмущенный вопрос о голосистом источнике я сама же и повинилась), и мою детскую забывчивость о важном шевченковском стихотворении. Мы долго говорили, и она со смехом призналась, что должна была наступить себе на горло, ставя эту злополучную двойку, а потому хорошо ее запомнила. Но от встречи, однако, уклонилась, желая остаться в моей памяти «молодой и красивой».

Совсем другой тип учителя представляла собой наша математичка – Ольга Петровна Рудоконь. Ее фамилия, к сожалению, была явно неудачной, так как подчеркивала и так возникающую ассоциацию с этим крупным и сильным животным-трудягой. Очень высокая и плотная, неулыбчивая, она всегда была полна душевных сил, чтобы фанатично светиться изнутри своей точной логикой и сосредоточенностью, на нас внимания почти не обращала и после объяснения, уверившись, что мы поняли, уходила, никогда не задерживаясь. Мне кажется, что и в учительской она вела себя так же. Только много позже я узнала, что она просто бежала домой к грудному ребенку, о котором ни с кем никогда не говорила. Но я жалею, что в моей жизни этого времени не случилось любимого мною умственного напряжения для познания математических тайн. Ведь пошаговая методика преподавания алгебры так замечательно за тысячелетия разработана, что если идти без пропусков, то там все легко и понятно, а потому все письменные задания на завтра мгновенно выполнялись уже на следующем, кроме русского, уроке. Если же изредка попадалась какая-нибудь задачка позаковыристее, над которой требовалось подумать, я радостно мча-

лась скорее домой, чтобы с огромным удовольствием спокойно разобраться. В старших же классах с огорчением узнала о существовании занимательных задачник, для которых время «блаженства» моего подросткового ума уже было упущено, так как начались новые дисциплины этого цикла.

Среди «языковых» учителей этого времени была и очень старенькая и уже плохо видящая Ольга Алексеевна (фамилию забыла). Она вела у нас английский язык и называла всех «деточками», не припоминая имен, поскольку ей надо было иметь дело со множеством учениц параллельных классов. От нее было интересно узнавать хотя бы основы нового языка, удивительно непохожего на своего близкого родственника – немецкий, о котором я имела некоторое представление более всего от папы, да и от других домочадцев, и даже от пленных немцев, как-то умудряясь с ними беседовать. Все, что было по программе, мы усваивали, но, увы, это была, конечно, капля в море. Понимаю, что страноведческий аспект в учебниках тех лет был практически исключен, потому что запомнила только тексты про pioneer Pete (пионера Петю). Мне очень нравилось, когда Ольга Алексеевна говорила с нами по-английски, но, увы, на обратную связь не хватало времени. Тогда, конечно, не было таких замечательных возможностей изучать чужой язык, как сейчас. Никаких газет и журналов, никаких детских книжек на английском не существовало, и вообще он, похоже, только входил в моду после немецкого. Если у нас дома всегда были какие-то, хоть и немногочисленные книжки на немецком, французском, латыни, даже древнегреческом и некоторых славянских языках, то из английских, кроме словаря, не помню ничегошеньки: никто из моих домашних его не знал. К тому времени мама уже преподавала в своей школе французский, и я немного завидовала ее мальчишкам, которые учили чужой язык и по стихам, маленьким и не очень, и по песням, которых она знала великое множество (небось, еще со времен своей «мадемуазель» или от своей бабушки).

Уроков нашей географички, живой и темпераментной Блюмы Борисовны (фамилию, по моему, и не знала никогда), мы всегда ждали с удовольствием. Помимо того, что она интересно рассказывала по существу, она всегда просила дополнить исходя из того, что мы прочли в научно-популярной или художественной литературе. Особенно нравились мне ее задания на путешествия по закрытой карте. Ответ часто оценивали демократически, всем классом, после того, как карту открывали. Например, как добраться от Мадагаскара до Новой Земли? От Пиреней до Северных

Анд? Правда, я уже и не помню, в пятом или шестом мы проходили физическую географию. Но особенно мы любили Блюму Борисовну за то, что в предпраздничные дни, если по расписанию случался ее урок, она замечательно, иногда даже в лицах (причем явно не без актерского таланта), пересказывала то, что ей нравилось из художественной литературы, всегда выбирая нам неизвестное. Это было совсем не похоже на нынешние сухие аудиокнижки, гораздо интереснее, так как сочинялось на ходу и комментировалось человеком, знающим свою аудиторию. Она хорошо понимала, чем угодить подрастающим женщинам, и все девчонки с восторгом внимали ее вдохновенным пересказам романов типа «Консуэло» Жорж Санд или «Лунного камня» Коллинза. После звонка ее долго терзали и не расходились, требуя закончить хоть главный сюжетный ход.

Пантеон моих учителей-небожителей был бы неполным без Нины Ивановны, нашего биолога, которая вела у нас ботанику и зоологию. К сожалению, у нас не было пришкольного участка, и ее возможности ограничивались биологическим кабинетом с небольшим запасом гербариев, муляжей зверей и самодельных демонстрационных стендов. Зато изобилие комнатных растений и цветов с разными экзотическими названиями, написанными по-латыни, действительно украшало не только этот кабинет, но и весь коридор второго этажа, ведущий к кабинету.

Благодаря интересу, привитому на ее уроках, я записалась в ботанический кружок при Доме пионеров и три летних сезона по-настоящему трудилась в селекционном кружке юннатов (впрочем, мы мало встречались, так как приходили когда вздумается). Мне очень нравилось копаться на полевых участках, тем более что они были расположены рядом с нами, на бывшем немецком стрельбище и далее, сразу за строительным институтом. Всегда хотелось прежде всего помочь нашей руководительнице Ольге Александровне – замученной якобы пионерскими огородами женщине в годах, и я, как правило, старалась привести с собой ватагу разновозрастных девчонок и мальчишек нашего двора, с которыми мы вместе пололи заросшие грядки, чистили дорожки, поливали и ставляли аккуратные дощечки с надписями, и она всегда искренне радовалась нам и умело подбадривала всех. До сих пор щеголяю знанием около 15 сортов помидоров и даже физалиса и помню наши «селекционные» опыты по скрещиванию их с пасленом. Как участнице Полтавской областной сельскохозяйственной выставки мне была вручена Почетная грамота (а по местному радио даже

объявили почему-то, что я буду агрономом), в которой, как тогда я подумала, просто была сделана ошибка: выдали ее мне за работу «по сортовым цыбули и буряку», хотя на выставке было представлено совсем другое. Живя на севере, могу только «глотать слюнки», вспоминая эти ароматные чудесные помидоры, выставленные и во фрагментах кустов, и в банках с рассолом: большие розово-красные, сердцевидные, с очень приятной кислинкой (сорт «Бычье сердце»), маленькие и удивительно сладкие, в густых желтых кисточках (сорт «Янтарный»), ярко-оранжевые, вкусные, иногда с коричневыми тенями средних размеров (сорт «Урожайный») и самые вкусные, огромные, мясистые, рассыпчатые (в Карелии такую же рассыпчатую картошку называют «звездной»), чисто-розового цвета и одуряющего запаха, который совершенно неизвестен тепличным томатам (это был сорт «Микадо», названный японским владыкой времен признания его божественного происхождения: наверное, селекционер задумал подчеркнуть, что вкус – божественный).

С нынешней временной дистанции мне думается, что подмена овощей в моей грамоте не была случайной, просто в тогдашние правительственные указы по нашей области мои любимые овощные ягоды не вписывались, именно «цукрови буряки» тревожили аграрные умы в те времена, предшествующие победному шествию кукурузы.

Года через два меня вдруг озарило, что редкая фамилия Кашкалда, которая не сходила с папиных уст (так звали его коллегу по кафедре), имеет отношение к нашей Нине Ивановне, для кабинета которой он только накануне помогал мне рисовать на ватмане породы кроликов. Потому не догадывалась так долго, что она, как и другие учителя-инопланетяне в моем воображении, вдруг оказалась... женой знакомого Николая Николаевича! Впрочем, может быть, это я немножко себя и оглупляю, так как все-таки понимала, что инопланетяне они для детей, иначе трудно мне понять свое несомненно горделивое (если не чванливое!) вышагивание рядом с мамой, когда я услышала от мальчишки, сидящего верхом на заборе: «Вовка, Вовка! Скорише, скорисше! Твоя франя с дочкой!!!» (франя – это учительница французского). Мама тогда смеялась, что из-за какого-то «Вовки» я наконец выпрямила плечи и двинулась вперед уже особой поступью.

Но мое внезапное озарение несколько приспустило моих учителей с облаков, и я впервые как-то особенно прочувствовала, что у них есть мужья, братья, сестры и даже мамы, которые живут вполне обычной жизнью. В этом я сама убедилась, ког-

да мы с папой летом ходили пешком к ним на пасеку чуть ли не за 10 километров в Свинковку. Кроме пасеки, которой успешно занимался ее муж, преподаватель старославянского языка, там оказались такие ухоженные участки овощей, что и не снились мне как юннатке, хотя о них заботились только Нина Ивановна со своей матерью. Было очень жалко, что при нашей школе Нине Ивановне негде было развернуться.

Из зоологических уроков смешно, но запомнился имевший некоторое отношение ко мне настоящий гимн кукушке, воспетый Ниной Ивановной. На примере ее аппетита она объясняла взаимосвязь в жизни природы: оказывается, если бы кукушка не подкидывала свои яйца в чужие гнезда, а высиживала бы кукушат, то в это время погиб бы урожай зерновых и пострадали бы деревья в лесу, так как одна кукушка в неделю съедает свыше 10 тысяч ядовитых волосатых гусениц, от которых умирают другие птицы! Запомнила же я это из-за того, что искренне огорчилась: «Фу-у! Какая жаднущая птица, хоть и полезная! Что же папа придумал меня звать ее именем, неужто из-за моего аппетита? Но он же у меня совсем не такой!!!» И даже успокаивала себя: «Да нет же, это просто из-за рифмы «Лидушка-кукушка», раз он так подписал мне две цветные фронтонные открытки из Германии». Но кукушинья прожорливость как крайне неприятный и вполне возможный аналог моему аппетиту все же врезалась в подростковую память.

В отношении физики нас преследовал злой рок: за три года учителя менялись четырежды. Одна из них мучила нас совершенно непонятными ей самой по своей цели лабораторными работами, ход и смысл которых мы должны были описывать кто во что горазд без последующего анализа; другая требовала зачем-то вызубривать всю теорию по учебнику слово в слово, и эта «скворцовая» физика разочаровывала и даже смешила; третья, наверное очень хорошая учительница, учебное время стала уделять физическим задачам, в которых, естественно, мы сильно отстали за утерянные попусту занятия. К сожалению, и она вдруг внезапно исчезает, но через какое-то время на пороге класса в объявленный урок физики наконец-то возникает невысокая «мужская личность» с военной выправкой, столь долгожданная и нужная для гармонии педагогического процесса в нашем девчоночьем заведении. Хотя и этот наш физик появился лишь на полгода, мне сейчас стыдно, что не запомнила его имени-отчества, только цепкое прозвище «Молекула». Оно, конечно, отразило его самозабвенные объяснения физических процессов, из которых одно запомнилось особенно ярко.

Обладая не только тренированным телом, но и незаурядной динамической фантазией, он замечательно объяснил нам парообразование. Расставив широко ноги и согнув их в коленях, он делал круговые движения обеими руками в такт со своими словами, а также со все ускоряющимся ритмом и интонацией крещендо: «А за-лас-ка-нна-я теплом молекула, – медленно и низким голосом начинал он, – ...все ускоряет, ускоряет, ускоряет движение, а потом наконец как ... выскочит... из пределов жидкости в пределы воздуха!!!» При слове «выскочит» на вершине этого пассажа он быстро, как баскетболист, вздернул руки кверху, изображая рванувшуюся ввысь молекулу. Особенно впечатлил нас его громкий взрывной выдох на глагольной приставке. Он, видимо, уподоблял скачок этой возбужденной молекулы выстрелу пули, и это явно символизировало буйную романтику ее скачка в новое качество. Ну как было забыть такое объяснение?!

В современном языкознании по образцу исследований языков американских индейцев развивается новое направление – изучение гендерных (то есть социально-половых) различий и в русской разговорной речи. Так вот для таких новейших изысканий наш учитель со смешным, но уважаемым нами прозвищем мог бы послужить редким и очень ценным информантом. Дело в том, что он сумел в короткие сроки обогатить наш, разумеется, на редкость девчачий лексикон типично мужским фразообразованием. Когда он входил в класс и видел учебники на столах и девочек, лихорадочно листующих их в ожидании опроса, он командовал: «Отставить оборонительные действия!» Если слышал шум в классе, приказывал: «Эй, в строю! Отставив разговорчики!» А про дальние парты еще и добавлял: «А ну-ка отрезать тылы!» Когда давал нам задание, говорил: «Так, предписание получено. Приступить к исполнению!» Он ввел в наш активный лексикон трудное слово арьергард, которым страшил отстающих, обвиняя их в тройках самого малого калibra или в том, что легко сдаются без боя.

Когда мы рассказывали об этом Прасковье Петровне, нашему классному руководителю, она только хохотала до слез и говорила, утирая платком глаза, что он же прекрасный опытный физик, просто до этого работал в каком-то военном училище. И этот факт тогда очень поднимал его в наших глазах и объяснял все странности. Но, к сожалению, как только мы привыкли и признали нашего замечательного Молекулу (то есть «заласкали» его своим отношением, как злоязыко шутил его словами мой отец), он тут же не без удовольствия «испарился из пределов» этой дамской обители. А дальше пошли уже новые наставники...

В общем, славная когорта моих учителей была так велика и разнообразна, так интересна и часто загадочна, их занятия с нами порою так непредсказуемы и по содержанию, и по методике, и по настроению, что все это вовлекало в какой-то живой водоворот нашей школьной жизни. По сравнению с ним учение под началом Анны Яковлевны, быстро ушедшее в прошлое, казалось удивительно вялым и скучным. Ощущение было такое же, как будто в душном классе открыли сразу несколько окон.

### Дела семейные, и не только

В 1948 году наконец вернулась домой наша Марина с мужем дядей Ваней, с которым ее разлучили три войны: Халхин-Гол (куда призвали военврача И.А.Чалика, при этом не разрешив следовать за ним жене, хотя и медику, но до 3-х лет бывшей дворянкой), Отечественная война (они оба заведовали госпиталями на разных фронтах, ничего не зная друг о друге) и война с Японией (там лечила Марина в то время, когда ее муж сам лежал в разных госпиталях с тяжелыми ранениями). Первое письмо от него моя тетя получила где-то возле Байкала по пути на Восточный фронт и была счастлива узнать, что он жив, но ее ждали еще участие в войне с Японией, а потом еще – и борьба в Корее с эпидемией холеры. Долгожданная их встреча состоялась только в самом начале 1947 года в одном из кавказских госпиталей, когда Марину уже демобилизовали и она наконец сумела найти в каком-то заброшенном боксе умирающего от амёбной дизентерии, исхудавшего до костей подполковника военной медицинской службы, в котором с трудом опознала своего мужа. С ее необыкновенной верой и настойчивостью она поставила-таки дядю Ваню на ноги. Через полтора года они возвратились в Полтаву уже не одни, а с полугодовалым Мишенькой, очень хорошеньким черноглазым и смешливым карапузом, как две капли воды похожим на дядю Ваню.

К этому времени тетя Мара по договоренности с плохо выполняющим свои обязательства строительным институтом переехала в одну из «институтских комнат», и три комнаты с большой кухней освободились для новой семьи вместе с бабушкой.

Наконец все вздохнули с радостным облегчением. Мама была счастлива воссоединению со своей любимой сестрой, почти погодкой, с которой вместе росла и всегда была очень дружна. Мишенька стал главным объектом любви и поклонения всего без исключения большого семейства, не говоря уже обо мне. Не только я как младшая, но и мои ро-

дители, и даже бабушка наконец-то близко узнали дядю Ваню – высокого и красивого, с типичной украинской внешностью, как теперь говорят, «западэнца». Папа, коренной русский, долго живший в Москве, прежде всего сразу же заметил и восхитился родниково-чистым литературным языком стопроцентного украинца, без всяких примесей обрусевшей речи. Если же прибавить, что Маринин муж оказался очень добродушным и заботливым, всегда веселым и остроумным, то неудивительно, что они с папой быстро составили для бабушки дуэт любимых зятёв. Их пара постоянно наводила всех соседей и гостей на ассоциацию с набирающим тогда популярность эстрадным дуэтом Штепеля и Тарапуныки (чи сценические репризы часто уступали их реальным диалогам). Дядя Ваня точно так же легко входил в любой коллектив, судя по тому, что, только начав работать врачом-дерматологом железнодорожной больницы (через несколько лет стал там главным врачом), тут же обзавелся огромным количеством друзей, знакомых, а также человеческих, собачьих, кошачьих протезе не только в районе больницы, расположенной на Подоле, но и по всему городу. Дело в том, что Ивану Андреевичу все доверяли и как врачу (неудивительно: он тут же наводил дом, чердак и даже местами сад книгами и медицинскими журналами по венерологии и дерматологии, очень и очень конфузившими моего папу, гуманитария до мозга костей и отца двух читающих подростков), и как ветеринару по первому его образованию.

Дядя Ваня оказался замечательным практиком во всем. В частности, он тут же сделал ревизию савельевскому жилкому фонду и обвинил моих родителей в позорной бесхозяйственности. Это он заставил их пусть не сразу, но со временем восстановить разрушенный бомбой балкон с выходом в сад и перепланировать бывший большой зал, в котором мы жили, в трехкомнатную квартиру, сначала только перегородив ее книжными шкафами, а впоследствии и доставив папе все нужные стройматериалы с помощью своих новых друзей.

Казалось, послевоенная жизнь стала налаживаться, смех зазвучал в нашем большом доме. Это было время добрых надежд и экономического укрепления не только нашей семьи: помнится всеобщая радость из-за первого после войны снижения цен на потребительские товары (апрель 1948 года). Люди тогда очень верили в завтрашний день.

Но несчастье нагрянуло внезапно и с неожиданной стороны: тяжелая форма менингита в считанные недели унесла в могилу десятимесячного Мишеньку, первенца наших многострадальных Чаликов. Лично для меня это была первая реальная

встреча со смертью, и стресс в эти черные дни был такой сильный, что больше всех меня сквозь слезы утешали сами безутешные родители-врачи, которые убеждали себя и меня, что из менингита для ребенка это лучший выход.

Былая гармония в наш дом вернулась только через год с рождением их чудесной синеглазой дочки, которую из-за моей настырности назвали Танечкой.

Спустя же полгода после трагедии с малышом наша бабушка находилась в Ленинграде, где как раз пошел в первый класс внук Сережа, которого она должна была на первых порах контролировать. Именно от нее, к которой зачастую корреспонденты, узнали мы о готовящемся грандиозном чествовании Пушкина. Разумеется, наступающую дату все мы хорошо помнили, но масштаб юбилейных мероприятий и торжеств поначалу был неизвестен.

Здесь, однако, не обойтись без исторического комментария о том, как изменилось восприятие творчества и личности поэта советской властью, так как «костер истории» давал самые разные «отблески» и на его оставшееся в России и расширяющееся потомство.

Пастернаковское определение художника как «заложника вечности» «у времени в плену» замечательно емко характеризует, в частности, не только прижизненную, но и посмертную судьбу Пушкина. Ведь самые первые радикальные ниспровергатели «старого мира» в своем пролеткультовском вандализме вместе с «буржуями» призывали «сбросить Пушкина с корабля современности» и отвергали полностью какие бы то ни было его заслуги. В 1918 году Маяковский строго вопрошал: «А почему не атакован Пушкин и прочие генералы-классики?» В первые послереволюционные годы в школах его чуть ли не повсеместно представляли «идеологом среднепоместного дворянства», а Татьяну Ларину, например, ставили к позорному столбу за пренебрежительное невнимание к пению крестьянских девушек. Именно в это время (1919 год) умерла от голода в Москве старшая дочь Пушкина Мария Александровна Гартунг и была лишена как наследства, так и пожизненной пенсии ее племянница и моя прабабушка Мария Александровна Пушкина-Быкова с формулировкой, что Пушкин «нэ майэ заслуг пэрэд Украіною». Все остальные потомки, если не выехали за рубеж, пополнили ряды поверженного «буржуазно-дворянского класса» с экспроприацией собственности и с запретом на образование, особенно строгим для заведений выше профессиональных трудшкол. Понятно, конечно, что так требовала революционная целесообразность победившего класса. Но ведь оторванные от земель

ной и прочей собственности, включая жилье, лишённые всяких средств к существованию из-за отмен пенсий, оставшиеся в отечестве потомки, будучи лояльными к новой власти, далеко не всегда могли найти даже самую низкооплачиваемую работу (совсем не случайный образ Маяковского: Тише, чем мыши, Ходят «бывшие» – хорошо был понятен, как минимум, все 20-30-е годы). Так, моя прабабка только первое время, когда еще был жив Владимир Галактионович Короленко, работала у него в «Лиге защиты детей», позже – сестрой милосердия в Обществе Красного Креста, но это ведь было все временным и неустойчивым.

По слишком обнадеживающим словам наиболее либерального к культуре прошлого А.В. Луначарского, Пушкин «ослепительно воскресает» только к 1924 году в стихах Маяковского, Безыменского, Жарова, но в реальных документах его имя появляется в однозначно позитивном контексте только через 10 лет, со времен I съезда советских писателей.

Что касается отблесков этого «костра истории» на потомках, это время совмещало, казалось бы, несовместимое. Так, в начале 30-х годов две бабушкины сестры, несмотря на физическую работу в новых условиях, были уволены и стали лишенцами (без всяких прав и карточек на социальную поддержку), одна из этих правнучек поэта Мария Павловна Воронцова-Вельяминова (Клименко) умерла от голода в Курске (1932). Ее племянник, А.С. Мезенцов, тезка и ровесник нашего дяди Саши, из лагеря в Соловках в 24 года был отпущен умирать от полученного там туберкулеза домой в Москву (1934). Мужья этих сестер погибли в концлагерях. Боюсь, что такая же участь ждала бы и моего деда, но он по случайности не дождал. Как тут не вспомнить известную цитату из Маяковского, правда, имевшую в виду «сукина сына» и «агента самодержавия» Дантеса:

*Мы б его спросили:  
– А ваши кто родители?  
Чем вы занимались  
до 17-го года? –  
Только этого Дантеса бы и видели.*

Однако, во-вторых, было и другое: одна из правнучек (Софья Павловна Воронцова-Вельяминова), которую готовила в Александровский женский институт первая жена В.Р.Менжинского Юлия Ивановна, после развода со своим арестованным мужем спасла детей и уцелела сама благодаря поддержке этого соратника «железного Феликса» (тогда он был заместителем Ф. Дзержинского, главы ОГПУ). Впоследствии Софья Павловна ока-

залась активной участницей социалистического строительства, а ее два сына, сначала росшие в детских домах, со временем смогли получить высшее образование и достойную работу в Москве.

Несмотря на документы I съезда советских писателей, в работе которого все же Пушкина взяли на борт «корабля современности» (хотя треть делегатов съезда позже была репрессирована), в 1935 году все еще в центральных газетах считали Пушкина одним из «попутчиков» советской власти. Однако Григорий и Анна Александровна Пушкины (московские внуки) уже получали пенсию, как и несколько раньше их сестра Мария (моя прабабка, за которую активно хлопотали В.Г. Короленко, потом известный педагог Антон Семенович Макаренко). Более того, им выделили пусть скромные, но квартиры, поскольку в свое время они были выселены из своих домов. Прабабушке-лишенке, безвозмездно отдавшей в Полтавский государственный музей все бывшие у нее личные вещи Пушкина и Гоголя (например, карманные часы Пушкина, подаренные им Жуковскому, который потом, оторвав их от сердца, передал Гоголю как более достойному; лучший портрет Гоголя работы его друга Моллера, чемодан с личными книгами Гоголя и пр.), тогда позволили занять дом покойного мужа, племянника Анны Васильевны Гоголь, построенный ею, как говорят, на унаследованные гонорары брата.

Столетие «одного из самых скорбных событий во всей истории России» (оценка И.А. Бунина) отметить беспрецедентно широко и торжественно по всей стране предложил Сталину Андрей Жданов, и тот поддержал его. Таким образом, именно в феврале 1937 года состоялся этот несколько «инфернальный» официальный праздник гибели поэта. Думаю, потому, что задумывалось утверждение СССР в мировом общественном мнении как правопреемника классического наследия русской культуры, то есть фактически утверждалось «благородство» происхождения культуры социалистической. И, в общем, это ведь было замечательно, так как планировался и осуществился выход в свет первых томов академического полного собрания сочинений А.С.Пушкина, а его сочинения разошлись огромными тиражами (свыше 12 миллионов), но главное – это выводило из тупика и открывало для нашего государства горизонты для культурного строительства.

Что касается немногих прямых кровных наследников Пушкина, не выехавших в эмиграцию, то в 1936 году известный пушкинист проф. М.А. Цявловский составил «Список прямых потомков А.С.Пушкина» и предъявил его «юбилейному» комитету Академии наук СССР. Трое внуков от стар-



шего сына Пушкина (Анна, Григорий, Мария) и один правнук (Григорий Григорьевич Пушкин), как и моя бабушка, были приглашены в Колонный зал и в Святогорье (переименованное в Пушкиногорье) на торжества, где получили возможность возложить венок на могилу поэта от его потомков. В Киеве разыскали двух младших бабушкиных сестер и пригласили на торжественный вечер. А нашей Марине, студентке Киевского мединститута, поступившей туда с превеликим трудом и только с трехлетним рабочим стажем, даже выдали 100 рублей (на давно вожделенное пальто).

Конечно, необыкновенный размах кампании, поднятой в прессе, школах, вузах, библиотеках и других культурных учреждениях, не мог остаться незамеченным. Лозунг «Пушкин – наше все» был провозглашен Андреем Бубновым, тогдашним наркомом просвещения, в его главной речи на торжественном собрании в АН СССР (через полгода он был арестован, потом расстрелян). Известно, что Иван Алексеевич Бунин, самый крупный и авторитетный писатель русской эмиграции, уже будучи в статусе Нобелевского лауреата, был яростным противником использования имени Пушкина советской администрацией: он считал его признание большевиками кощунственным и лицемерным. Но власть сделала наконец в стране долгожданный разворот к принципу преемственности, к историческим началам национальной русской культуры, хотя и с идеологическими передержками. Именно в это время тонкий филолог Осип Мандельштам писал, что в нашей стране «легче провести электрификацию, чем научить грамотных людей читать Пушкина, как он написан».

Исторический парадокс состоял в том, что самый страшный по своему репрессивному накалу 1937 год для потомков Пушкина оказался явно переломным в лучшую сторону. Генеалогия материнского рода стала не такой опасной благодаря полному признанию исторической фигуры Пушкина как поэта национального, да еще и идеологически близкого по своему «революционному духу». Конечно, правая часть русской эмиграции в лице Бунина, ярого противника «окаянных дней» революционного переворота и его последствий, и слышать об этом не хотела, считая совершенно несовместимым пушкинский «мир исторической памяти» с «большевицкой дикостью». Однако на родине Пушкина решение властей было встречено если не с радостью, то с одобрением не только писателями и многочисленными пушкинистами, но и всеми теми людьми, которых можно было «подозревать в образовании». Если же было нельзя, то этот шаг властей сыграл явно просветительскую

роль в малограмотной стране, из которой еще и эмигрировало до двух миллионов интеллигенции! В наши дни даже трудно поверить, что в 1937 году внучке Пушкина Марии Александровне один из комсомольских журналистов задавал такой вопрос: «Правда ли, что вы – бабушка Пушкина?»

Конечно, при этом остро дискутировался вопрос о мировоззрении поэта и степени его «союза» с советской властью. Не случайно в это время зародился литературный анекдот, на реальности которого настаивал В.В. Вересаев, о «большевике Пушкине», полностью признавшем революцию в известной строке: «Октябрь уж наступил...» Вульгарно-социологическое толкование Пушкина, например, в монографии Кирпотина «Пушкин и коммунизм» или в построениях Дмитрия Благого о «классовом самосознании» поэта, тогда убедительно корректировал Вересаев как пушкинист. Он четко разъяснял, что Пушкин в силу своего положения художника не мог быть революционером, он просто перерастал николаевский режим благодаря масштабу собственной личности.

Справедливости ради замечу, что акценты на оппозиционность Пушкина были присущи как дооктябрьской, так и послеоктябрьской либеральной критике. Так, П.Н. Милюков, хотя и окарикатуренный Маяковским, но известный историк и общественный деятель России и русского зарубежья, всегда подчеркивал, что Пушкину «было душно» в самодержавной николаевской России (его книга «Живой Пушкин») и он, вопреки даже основному смыслу первой части стихотворения-мистификации «Из Пиндемонта», представлял поэта борцом за либеральные права и свободы.

Так или иначе, но возведение Пушкина на пьедестал первого поэта России было исторически оправдано не просто политической необходимостью советской администрации, озабоченной взглядом на нее извне, но и реальной ситуацией в русской культуре прошлого. Ведь общепризнано: то, что сделали в Италии Данте и Петрарка, во Франции – титаны пера XVII века Корнель, Расин, Лафонтен, Буало и др., в Германии – Лессинг, Шиллер и Гете, в России выполнено одним Пушкиным. Он стал основоположником литературного языка не потому, что составил грамматику или подготовил словарь. Он представил читателям именно образцы русской литературы во всех ее родах и жанрах – поэзии, прозе, драматургии и даже в публицистике. Своим талантливым речетворчеством он утвердил нормы литературного языка, на фоне которых только и могли расцвести индивидуальные стили других наших великих художников слова. Это нельзя придумать, так распорядилась сама история, Ее Величество История.

Поэтому я бы не назвала 1937 год началом «культу Пушкина», как теперь модно говорить. «Культ» для нашей страны имеет очень неприятную ассоциацию, связанную с официально насаждаемым сверху культом вождей. Искренняя же любовь к талантливому глашатаю личной духовной свободы, всей жизнью доказавшему, как дороги для него достоинство личности, честь семьи, честь рода, честь Отечества, идет все-таки от его читателей, то есть снизу. Скорее, этот год – первая серьезная, хотя часто и неуклюжая попытка вернуть утраченные позиции русской культуры, признав ее фундамент.

Буинской крайне правой критике, которая категорически отказывала советской власти в праве на достояние многовековой культуры, подвергалась ведь и новая орфография русского языка (без букв «ер», «ять», «фита» и с другими упрощениями написаний). С ядовитой иронией он называл ее «заборной орфографией». Между тем она хотя и была принята в 1918 году советской властью, но была хорошо обоснована и подготовлена еще до революции выдающимися учеными-русистами, академиками Ф.Ф. Фортунатовым и А.А. Шахматовым. Она реально облегчила резкое сокращение всеобщей неграмотности за два истекших десятилетия.

Последующие годы для потомков «культурного» предка назвать очень легкими нельзя, так как их жизнь складывалась по-разному. Большинство все-таки сумело добиться образования, пусть не того, о котором мечтали (как трое из бабушкиных детей), и не так просто. Знаю, что очень пострадала праправнучка Пушкина Наталья Воронцова-Вельяминова из-за передела Польши в 1939 году. После тут же последовавшей экспроприации ее муж, хозяин польского имения, был арестован и через два года расстрелян, а сама она и их дети как «чэсэиры» (члены семьи изменника родины) были высланы в Северный Казахстан. Там они жили в землянках, построенных в степи своими руками, терпели всю войну и годы после нее крайнюю нужду и тяжелый физический труд, пока им не позволили переехать в Павлодар, где можно было найти другую работу, по силам. Большинство же мужчин-потомков Пушкина, оставшихся на родине, героически сражалось в Великую Отечественную войну против фашистов, дойдя и до Берлина. Однако и это не спасло, например, праправнука Александра Ивановича Писнячевского, моряка с фронтовыми заслугами и мамино двоюродного брата, который после войны 6 лет был репрессирован за слишком откровенный разговор в вагоне поезда о положении английских докеров (позже, психологически надорванный, он покончил с собой).

И вот через 12 лет, вместивших в себя и годы массовых репрессий, и финскую, и Великую Отечественную, и японскую войну, и послевоенную разруху и голод, снова приблизилась круглая пушкинская дата, на этот раз действительно праздничная – 150 лет со дня рождения поэта.

Как я теперь понимаю, новое юбилейное торжество носило не столько показательно политический характер, сколько характер просветительский. Отсюда размах мероприятий был несколько поменьше. И все-таки он был очень широким и явился импульсом для многих направлений культуры: открытие Пушкинского заповедника в Михайловском и множества выставок во всех культурных учреждениях, выпуск всех 22 томов Полного академического собрания сочинений Пушкина, начало осуществления замечательного проекта акад. В.В.Виноградова – «Словарь языка Пушкина», не говоря уже о миллионных тиражах отдельных его произведений с чудесными иллюстрациями лучших художников или с нотами многих композиторов, а также оперные, балетные, театральные постановки и кинофильмы и прочее.

Что касается нашей семьи, то празднование более всего коснулось бабушки и ее московской сестры, для меня тети Тани. Во-первых, они смогли встретиться с одной из своих парижских сестер, приехавшей вместе с племянницей, и, наконец, поговорить и сопоставить свои судьбы. В их случае жизни на родине бабушка нашла важные преимущества, так как всё же трое из пяти ее детей, хоть и с трудом, сумели получить высшее образование, как и единственный сын Татьяны Николаевны, к тому времени студент МГУ, а вот дочка выехавшей за рубеж старшей сестры Елизаветы тогда могла похвастаться только хорошим социальным пособием. Во-вторых, и бабушка, и ее родные, и некоторые двоюродные сестры, как и праправнук Г.Г.Пушкин, принимали участие не только в московских и ленинградских торжествах, но, главное, в Пушкиногорье и Михайловском, где бабушка впервые побывала на могиле прадеда. В-третьих, кажется, тогда же бабушке и тете Тане назначили пусть небольшую, но персональную пенсию как правнучкам (но не тете Маре, поскольку она была киевлянкой и хлопотать за нее в Полтаве было некому).

Неожиданной стороной Пушкинский юбилей коснулся и моей детской жизни, приобшив меня к студенческому театру.

До этого в моей биографии просматривалась, в основном, дворовая художественная самодеятельность, в ходе которой я изо всех силенок оттачивала столь любимое детьми «сценическое мастерство». У нас в саду под липой обычно висел не толь-

ко гамак, но и постоянный толстый провод для выветривания всяких тяжелых вещей. Так вот именно он стал в полном смысле железной основой самой идеи театрального занавеса. Раза два в лето мы там устраивали «концерты», собирая всех соседей своими изобретательными то ли плакатами, то ли афишами, причем всегда аншлаг был полный. В качестве артисток подвизались одни девчонки, но мы не тужили и легко брали на себя и все мужские роли. Впрочем, однажды наш Колючка под напором тети Мары снизошел до роли гоголевского Ивана Ивановича в сцене ссоры со мной – Иваном Никифоровичем (обвязанным двумя подушками под рубашкой). Лида Окунева у нас была звездой художественной гимнастики (легко падала на мостик и делала шпагат), Лера и Кира в унисон неплохо пели грузинскую песню «Сулико», и все вчетвером мы любили синхронно отплясывать матросское «яблочко», в том числе вприсядку. Душой же всех драматических сценариев, конечно, была моя тетя Мара, которую, как правило, зорко стерегла ее кошка Настя. Помимо летних дворовых зрелищ под ее режиссурой (это чаще всего были сценки из Гоголя, особенно помню себя в роли собачки Меджи, пишущей письмо своей хвостатой подружке Фидель), в школе случались и другие представления, и там я всегда тоже развивала бурную активность. Когда же в нашем пятом классе еще перед Новым годом проходил педпрактику студент 3 курса Володя, он, в частности, ставил с нами ну необыкновенно новаторскую пантомиму «У лукоморья дуб зеленый...». После чрезвычайно трудных дебатов в ходе распределения ролей я в нем являла собой «царевну» и, обрядившись в корейский Маринин халат и новогодний кокошник (резная картонка с пришитыми цветными бусинами), «томилась» в темнице – перевернутой парте с решеткой, которую брат мне сделал из прутьев все той же сирени, широкой полосой отделяющей наш двор от соседей. Папа потом говорил, что его коллега по кафедре Мария Исаковна, руководитель практики, просто заливалась хохотом, когда рассказывала про эту зачетную пантомиму Володи и про «царевну», фантастически горестно тоскующую в чрезвычайно оригинальной темнице, поглаживая чью-то меховую шапку в роли «бурого волка».

Володя же, напротив, очень высоко оценил во мне сценическую фантазию в ходе этой великой «туги», раз где-то в марте он снова появился в нашем классе, чтобы сагитировать меня участвовать в их студенческой постановке «Сказки о попе и о работнике его Балде» в роли бесенка.

Дело в том, что к июньскому юбилею Пушкина студенты пединститута готовили большой кон-

церт, в котором главным, конечно, был спектакль по поэме «Полтава». Кроме того, у них были действительно хорошие, серьезные музыкальные номера (романсы на стихи Пушкина) и монтаж из лирических стихотворений. Я же исправно бегала на репетиции к «Балде»-Володе, а папа готовил для нас из папье-маше большую голову кобылы: у нее были глаза из лампочек с нанесенными на них зрачками, а челюстью можно было шевелить за шнурок. После того как лепка высохла, он сначала пролевакурил ее (то есть покрыл смесью гипса и столярного клея), а потом, добившись наждачной бумагой гладкости, раскрасил масляными красками и приклеил гриву из крашеной пакли. Конская голова получилась хоть куда: одновременно и смешной, и как будто настоящей! Еще он сделал сивый хвост, чтобы второй человек, изображающий круп кобылы, мог им помахать, что мне ужасно нравилось и чудесно стимулировало двигательную фантазию. Даже сегодня моя разбуженная память услужливо воскрешает бурные захлестывавшие чувства от этого замечательного театрального реквизита: помню, как мы с Колькой, накрывшись рыжим одеялом (тем самым, что таскали с собой в бомбоубежище) и не видя ничего под ногами (брат мог смотреть через ноздри только вперед), с диким восторгом носились по двору и саду, а дядя Ваня пытался остановить наши весьма рискованные пируэты: *«Оце щастя так щастя! Нэ шкода и шию звэрнуть! Втим, воно нащо и шия, як нэма головы!»* Не знаю, понятно ли: *«Вот счастье так счастье! Не жалко и шею свернуть! Впрочем, зачем и шея, если головы нету!»*

Однако ставшей знаменитой голове суждено было многое: она не только произвела фурор на всех повторных спектаклях пушкинской сказки, но потом играла и другие роли (Росинанта Дон Кихота, Осла в басне Крылова и Танцующей кобылки, за которую мы с братом получили первый приз на маскараде в городском саду, притом балетмейстером была, конечно, тетя Мара).

Когда подошло время праздничного пушкинского концерта в пединституте, мне был доставлен из театра настоящий костюм бесенка – с меховой шапочкой, к которой были прикреплены рожки, и с каким-то мохнатым комбинезоном, заканчивающимся копытцами. Он меня сам по себе так воодушевлял, что мою роль одобрили все домашние – и заядлая театралка тетя Мара, и дядя Ваня с Мариной, и даже Колька, и родители (кроме бабушки, взыскательной зрительницы, которая пропадала где-то далеко на торжествах). Больше всего меня беспокоило, как это я подлезу под кобылу из двух человек и подниму ее. Но мудро-практичный Володя

раздобыл в театральных закромах две коровьих ноги, которые вместе с большущей и туго набитой сеном подушкой изнутри прикрепили к «сивой» попоне, и эти широкие коровьи копыта сошли за узкие кобыльи, а попона с подушкой – за ее телеса.

Студенческий праздник, посвященный Пушкину, удался на славу, и впоследствии мы его повторяли два раза, в том числе даже на сцене театра им. Гоголя (в еще временном здании возле 23-й школы)! Особенно серьезно и проникновенно читала лирику Пушкина знакомая мне по педпрактике студентка-отличница Катя, и, помню, ее, конечно, не могло не задеть, что легкомысленная публика более всего реагировала на забавное, хохоча и хлопая, а ей выпадали аплодисменты обидно вялые. Я искренне сочувствовала Кате и как могла утешала, но все-таки чувствовала свою невольную вину перед ней и за нашу сказку, и за уморительную кобылу.

Видимо, полтавских потомков тогда тоже посещали корреспонденты, так как сохранилась профессионально сделанная фотография – улыбающаяся и нарядная тетя Мара, «родовым легендам» которой мы с Колей и Галочкой, приехавшей на каникулы, якобы внимаем на скамейке в соседнем парке (на самом деле просто болтали ногами). Маму же фотографировали в классе с учениками (судя по сохранившейся тусклой малюсенькой вырезке, кажется, из журнала «Работница»), а наша Марина, с ее реальными фронтовыми орденами и заслугами, почему-то, видимо, была обойдена журналистами: тогда она еще не работала, что ли.

Отмечали ли юбилей Пушкина в нашей школе, совсем не помню. Но, наверное, отмечали, как и по всему Союзу. Пятый класс ведь распускали на лето в конце мая, так что я могла и не знать.

### **«Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок...»**

Пишу и с удивлением узнаю, что расшевелившаяся память, оказывается, может выдавать скрытые до поры целые залежи ушедших в прошлое реалий, эмоций, деталей прожитой жизни. Вообще же человеческая память замечательно держит в себе прежде всего бывлые чувства и штрихи быта. Но часто плохо верится, что это была я, именно я, нынешняя, уже далеко не юная отроковица, но почти созревшая для вечности старушка, наверное, снова впадающая в детство. И тем не менее.

В свои годы не могу не удивляться, как жадно в отрочестве бросается душа на каждую едва просматривающуюся новую сферу жизни, у которой порой имя – «кружок». Я просто разрывалась: ин-

тереснейшие ботанические и драматические за-теи, а еще кружок фехтования, кружок балета, кружок шахматный, «кружок по фото», а главное – музыкальная школа, перед которой всегда чувствовала ответственность! В те времена совсем не было такого, как сегодня, серьезного отношения к секциям, кружкам и клубам, которые чуть ли не с пеленок формируют будущую карьеру детей. Только чистый и бескорыстный интерес самих ребят приводил их в бесплатные спортивные кружки, которые необыкновенно легко возникали, но, увы, часто так же легко и без проблем рассыпались. Не знаю, хорошо ли это, наверное, нет. Но я, конечно, тогда ничего этого не понимала и ни о чем не задумывалась, а потому быстро загоралась, восторженно погружалась в новую сферу, чтобы по прошествии времени довольно безответственно остыть, почти не чувствуя неловкости.

Я осталась благодарной своим родителям, в частности, за то, что они стесняли мою физическую, а тем более духовную свободу по минимуму: запрещалось ходить без спроса в далекий лес, летом без взрослых на речку (наша Ворскла была очень коварной, и на моей памяти папа спасал двоих – незнакомого молодого парня, попавшего в водоворот, и нашу соседку Надю Соколову, Галочкину подругу, которая много позже и меня вытащила из-под коряги), нельзя было лазать по высоким развалинам и, разумеется, приходиться поздно и т.д. В остальном родители полностью полагались на меня саму, всегда, впрочем, зная, какими проблемами я живу, так как еще с начала длинного коридора я уже начинала тарыхтеть о последних своих школьных новостях (когда я уехала учиться в Ленинград, они даже жаловались на что-то вроде настигшей их информационной пустоты).

Поэтому они, разумеется, почти не влияли на мои увлечения, считая, видимо, что в этом уж я разберусь сама. Например, никто из них и никогда не обращал внимания ни на мое физическое развитие, ни на Колино. Тогда вообще спорт стоял на последнем месте и считалось, что если дети не болеют, то все нормально. Тем более что с физкультурой у меня обстояло как бы все хорошо. Я исправно сдавала какие-то нормы ГТО: бегала на зачетное время по окружности Корпусного сада (это ровно километр), легко прыгала через козла в спортзале, делала нужные упражнения на кольцах, а уж по канату лазала, как обезьяна, лучше и быстрее всех в нашей школе. Более того, у нас во дворе летом я порой бывала капитаном футбольной команды мальчишек; легко съезжала на лыжах с головокругительной высоты на чуть ли не отвесном спуске с примечательным названием «Рыжи-

на» (возле соседней с фамилией «Рыжие»); еще в четвертом классе я отличилась тем, что бесстрашно ходила по шпалам высокого второго этажа в развалинах гоголевского театра, демонстрируя свое равновесие (счастье, что не разбилась и никто из старших не видел); в шестом же классе едва не получила четверку по поведению за вторую четверть (обсуждали на педсовете, но все-таки пожалели) из-за того, что повела девчонок обследовать чердак и вылезла на скользкую крышу, доведя Прасковью Петровну, увидевшую с улицы «этот жуткий мираж», до сердечных капель. А вот на речке была позорно трусливой, так как тонула дважды, а потому никогда и не научилась плавать настоящему и подолгу.

Кажется, в шестом классе к нам в школу пришел тренер, набиравший в кружок фехтования. Что это такое, я знала тогда исключительно из «Графа Монте-Кристо», не больше, разве что еще немножко имела представление о дуэли пушкинского Петруши Гринева со Швабриным на шпагах, но никак не предполагала, что в таком кружке могут понадобиться и девочки. Никто из моих знакомых не откликнулся на призыв (повторюсь, что статус спорта тогда был совершенно несравним с нынешним: я никогда в то время не замечала, чтобы в массовом сознании присутствовала коммерческая или престижная составляющая спорта), но я решила пойти одна, так как фехтование мне представлялось чем-то древним, необычайно романтическим и даже изысканным. Спортзал был сравнительно недалеко от нашей школы, и я начала дважды в неделю посещать занятия по фехтованию на рапирах, где нас оказалось около двенадцати человек. Сейчас только удивляюсь: нам ничего не рассказали об этом виде спорта, не показали ни амуниции, ни даже ее изображения, только дали каждому в руки по рапире и стали учить, как ее держать, а также позициям, приветствиям судьям и противнику, боевой стойке, шагам и выпадам. Все это в одном ряду и без разделения на пары. Видимо, интерес к этому то ли искусству, то ли виду спорта в послевоенные годы только возрождался, а потому живой и эффективной методике наш тренер в провинциальной глубинке был явно не обучен. Я стойко и послушно продержалась месяца три, дома «тренирую» Кольку (он переносил терпеливо, но без восторга) и честно отрабатывая свои шаги и выпады. К тому времени из первоначального состава кружка осталась едва ли половина. Потом как-то часы фехтования совпали с концертом в музыкальной школе, следом – еще с чем-то, и я вдруг обнаружила, что весь мой пыл улетучился и я ничего не потеряю,

если расстанусь с этим случайным для меня и совсем не романтическим занятием. Поэтому когда я иногда наталкиваюсь на телепередачу о фехтовании и по старой памяти вдруг правильно предсказываю следующее движение спортсменки, думаю: «Ага!.. Так вот для чего я потратила больше 300 часов своей отроческой жизни! Нет, современным родителям все же лучше вмешиваться в выбор детьми своих хобби!»

Когда же в моей жизни наступил период балетного сумасшествия, он продлился гораздо дольше фехтования, во всяком случае, год точно. Это было, конечно, потому, что балетный кружок был более понятен для всех и туда записалась чуть ли не половина моих ровесниц из нашей школы. Сначала мы еле помещались в собственном спортивном зале, но через два-три занятия эта роскошная, неуправляемая и весело болтающая компания начала заметно сокращаться, и к моменту, когда мы освоили пять балетных позиций для ног и три главных позиции для рук, нас осталось не больше полутора десятков. И тут началось самое интересное: мы (из нашего класса задержались только две мои тоненькие длинноногие подружки Алла Головня и Вита Свидерская) начали готовить вальс из балета Чайковского «Спящая красавица». Надо сказать, что никаких пуантов у нас не было и в помине, танцевали в обычных тапочках с завязками, все время становясь на пальцы. Это уже много позже я с разочарованием узнала, насколько состав кордебалета, да и хореография отличались в классическом исполнении, но тогда наша руководительница Татьяна Петровна очень убедительно уверила нас, что мы танцуем вальс в честь пробуждения от заколдованного сна царевны Авроры, танцуем его как радость от весеннего пробуждения природы и ликования цветов именно так, как его задумал великий балетмейстер Мариус Петипа. Не знаю, как других, но лично меня это очень воодушевляло, ведь о нем я много наслушалась от нашей тети Мары, которая, например, показывая реверанс, всегда приговаривала, что делает его именно так, как учил «сам Петипа». Впрочем, мы танцевали музыку, и это было для меня очень полезно, тем более что этот вальс Чайковского я сама как раз тогда играла на пианино, и мы исполняли его то с букетами цветов, то с большими венками в руках, то выстраиваясь в ряд, то «изысканно», как мне казалось, рассыпаясь на тройки, причем в какой-то момент я, до ужаса счастливая и гордая, «примой-балериной» (с освобожденными руками в третьей позиции) проплывала под аркой из цветочных венков. Потом делала нечто вроде «рэлэвэ» одной и другой ногой и «портдэбра» руками (со мной это специ-

ально отрабатывала Татьяна Петровна) и убежала на пальчиках за кулисы. С этим вальсом мы выступали несколько раз в школах. Родители, относившиеся несерьезно к моему балету, так и не видели меня танцующей, а вот верная тетя Мара ходила со мной даже в дальнюю 23-ю школу. Но потом настали каникулы, притом Алла с Витой, как мне тогда казалось, просто рожденные, чтобы быть балеринами, ушли в другой балетный кружок при филармонии, а без них и моя балетная страсть иссякла очень и очень быстро... Думаю, не последнюю роль сыграло и то, что я так и не научилась делать шпагат, а значит, всегда критически оценивала свои маломощные «рэлэвэ» и в глубине души не считала себя способной ко всем тем чудным позициям, которые так легко получались у Татьяны Петровны.

Лет в пятнадцать я пережила настоящее наваждение – шахматы, которое сформировало к ним необычайно пугливое отношение. Случайный залетный шахматист в нашей школе только рассказал об этой старинной восточной игре и ее победном шествии по всему миру. За несколько занятий он познакомил нас с фигурами, их ходами, ротациями и вообще с основными правилами игры, а затем просто исчез. Но к тому времени он, во-первых, уже посеял в моей душе свои семена, а во-вторых, Наталья Александровна Старицкая (бывшая классная дама бабушки) уже успела мне подарить замечательную книжку для начинающих шахматистов с описанием основных дебютов и эндшпилей и, главное, с массой прекрасных, удивительно интересных задач нарастающей сложности. Шахматы в нашем доме были еще от прадедушки, кажется. И вот я, идя по этой книжке, просто сходила с ума в поисках партнеров. Но так случилось, что в нашей большой семье этим никто не был заражен! Немножко играл папа, немножко тетя Мара, но их надо было долго упрашивать сесть со мной за шахматную доску, и потом они без всякого интереса легко сдавались. Больше всех для этой игры, конечно, подходила мама (она всегда очень любила всякие каверзные задачи), но в ее детстве совсем было не до шахмат! Поэтому я играла сама с собой! Ночами ломала голову над интересной задачей и не на шутку сердилась, когда она не получалась. Оставить? Ни за что! И я могла сидеть до утра, пока не решу. Потом весь день шел кувырк. И вот в самый разгар этого наваждения, когда я который уж день не подходила к пианино и книжкам, папа, проснувшись среди ночи и увидев меня все еще сидящей за доской, сказал: «Ты что себе думаешь, дочка, неужели всерьез хочешь посвятить свою жизнь передвижению этих деревянных куколок? Это, конечно, может быть интересно, но

стоит ли? Оглянись, на свете так много других достойных занятий – и для ума, и для рук! Вон ты еще даже Тургенева не всего читала!» То ли это было сказано вовремя (я так тогда устала от этой трудной задачки после рабочего дня и накануне утренней музыкальной школы), то ли действительно он убедил меня по существу, назвав фигуры «куколками», но я взглянула на себя со стороны и ахнула. И, встряхнув головой, сбросила с себя это настоящее умопомрачение. Между прочим, навсегда. И даже сейчас боюсь шахмат: начну – не кончу, по опыту прошлого знаю, что совсем не смогу их дозировать, как остальные люди, – так они напугали меня своей «приставучестью». До сих пор боюсь натолкнуться на последнюю задачку: мат черными в три хода, но, слава богу, из уже забытых позиций.

Ослепительной фотовспышкой прошло также мое непомерное увлечение фотографией с лета после седьмого класса, которое длилось свыше двух лет. Все началось с того, что родители подарили мне по Колиному наущению ко дню рождения дешевый широкоплеченный фотоаппарат «Любитель», который, тем не менее, мог при правильной наводке резкости выдавать приличные снимки, не то что узкоплеченный и дорогой «Фэд». Одновременно такой же аппарат привез старший брат-студент из Львова обитателю соседнего дома, моему ровеснику Леньке Кулику. Этот мальчишка, недавно приехавший с Западной Украины, почти сразу стал одним из лучших учеников в маминой школе, но он был несчастным сыном своей ужасной матери, с первых дней своего появления объявившей непримиримую войну всем ребятам нашего двора, начиная чуть ли не с двухлетних. Дама раздражительного властолюбия и неприятной бесцеремонности (боюсь, этот элемент характера развивался ее бывшей профессией учительницы начальной школы), она по малейшему поводу и даже без него цеплялась к каждому и к своему безответному сыну особенно, даже выгоняя его из дому. Мама всегда жалела «бедного худышку» и не только подкармливала его, но он часто ночевал у нас, пока мой отец не «вливал здравого смысла» в дурную голову его мамы, тогда она на какое-то время «поджимала хвост», как говорил папа. Но Ленька всегда рад был улизнуть от нее, а потому готов и счастлив был составить мне компанию в наших фотозанятиях. Пик моих фотографических затей в памяти прочно ассоциировался именно с ним. Сначала мы, споря до хрипоты, а то и рукоприкладства (!), ну очень серьезно выбирали ракурс съемки, фон-овый интерьер или пейзаж, освещение, – все это потому, что в теории я много слышала от своей тетушки Гали, своим чудесным широкоплеченным

аппаратом «Киев» делавшей настоящие высокохудожественные снимки, и к тому же активной читательницей журнала «Советское фото».

Потом в специально оборудованном уголке нашего балкона мы проявляли пленки, печатали через самодельный (из довоенного папиного фотоаппарата) увеличитель снимки, развешивали все это на веревочках, под конец обрезали и аккуратно рассортировывали. До сих пор «горжусь» некоторыми из своих отроческих фотографий, среди которых, конечно, самый важный объект любования – хорошенькая, как куколка, сестренка Танечка: Таня полутора лет с подолом, полным роз, где главное – капли утренней росы на них, и это якобы символ ее «утра жизни» (на этом символе особенно настаивал Леня); двухлетняя Таня на пляже на плечах Аллы и Виты – «новое поколение»; Танечка двух-трех лет с пальцем во рту в глубокой задумчивости перед портретом Гоголя – «все впереди»; она же после сна в отражении на стекле распахнутого окна – «Во всех ты, душенька, нарядах хороша...»; она же в хороводе с такими же забавными малышами и т.д. и т.п. Но групповых фотографий я все же никогда не любила, не чувствуя в них профессионального смысла. Из других снимков сохранился мой автопортрет в зеркале, бабушка за любимым прадедушкиным «бюро» (по преданию, работы крепостных гоголевского рода), заставленным фотокарточками предков и потомков, то есть бабушка как «дух рода», и памятный портрет в парке на скамейке одной девушки, Гали Гусевой, из нашего двора. Она все плакалась, что никто ее не может «нормально» отразить на фотографии: обязательно подчеркнут ее недостатки, которыми она считала кривоватые ноги и слишком крупный нос. Я же на спор взялась все сделать как следует. Помню, как вдвоем мы долго искали в городском парке напротив полутьны и в ней скамейку без спинки. Я усадила ее полуанфас, добившись непринужденно согнутых в коленях ног, а голову повернув так, чтобы солнце осветило волосы и они перетянули акцент на себя. Когда фотографию проявила, оказалось, что Галка вышла настоящей красавицей. Она заказала 10 снимков и на радостях оборвала на своих грядках всю клубнику, чтобы притащить «настоящей художнице», тем самым познакомив меня с профессиональным тщеславием. Так что эта фотокарточка для меня до сих пор немного пахнет клубникой и кружит голову, пусть и чуть-чуть.

Страсть к фотографии требовала не только ощутимых материальных затрат на пленки, химикалии и пр., но и затрат временных – длительных бдений в темноте вдали от повседневного быта. Конечно, она становилась особенно неудобной в неканику-

лярное время. Поэтому, наверное, она и стала потихоньку сдавать свои позиции, хотя на всю жизнь оставила преклонение перед настоящими мастерами этого искусства: всегда ценила выставки фотографов-пейзажистов и портретистов, почти так же, как художников. Конечно, я и потом делала снимки, но такого упоительного восторга при их проявлении, как в подростковом возрасте, к сожалению, уже не испытывала.

Впрочем, меня и сейчас хлебом не корми – только дай в собеседники любителя порассуждать о выгодных и невыгодных ракурсах, композициях, об объеме воздуха в пейзажной фотографии, о разных проблемах съемки через какую-то завесу, снимков водной поверхности и пр. и пр., но это уже в абсолютном отрыве от практики, а потому – пустое суесловие...

Но нет-нет и все-таки вздрогнет сердце, и оцепенеешь то ли от красоты, то ли от белой зависти к художнику, когда увидишь такие пронзительные лирические пейзажи, как, например, у Владимира Ларионова. Не знаю, может быть, кого-то это и не задевает, но у меня просто парит душа, когда сквозь причудливое кружево нагих веток открывается бездонная глубина неба, когда видишь дивные облака или огромные снежные равнины, от чистоты и свежести которых буквально улечиваются все случайные земные заботы. Или бьющая через край радость и красота залитой солнцем золотой опушки майских одуванчиков, уходящей чуть ли не за горизонт. А захватывающая дух грандиозная панорама озерно-лесной Карелии, схваченная мастером откуда-то с поднебесья, да еще и ее изысканные переплетения водных и лесных троп, зовущих за собой? Неужели медицина до сих пор не ввела как процедуру лечения людей такими «эстетическими ваннами»? Любуясь всего лишь пейзажным календарем истинного художника в фотографии, в полной мере понимаешь, как много проходит мимо тебя неосвоенных дорог – не только в переносном, но и в прямом смысле.

Если охватывать взглядом хоть и не все, но главные увлечения детства-отрочества-юности, то, конечно, невозможно умолчать о непрменных и самых затратных по времени занятиях музыкой. Конечно, это не было кружковым занятием, это была необъятно великая сфера жизни, к которой я минимально прикасалась своими слабыми природными силами, со всей дерзостью музыкальной невинности и удалью незнайки. Самую строгую ответственность я всегда чувствовала именно перед этими уроками. Сейчас только разбираюсь в себе, почему, и устанавливаю причины, которые в разные периоды взросления по-своему акцентировались.

Во-первых, это, конечно, бабушка и ее волевая установка. Она вообще по старинке не признавала для девочек образования без регулярных и длительных занятий фортепиано. Так было принято в ее благословенные времена. Она всегда считала чуть ли не обездоленной свою приемную внучку Галочку, которая мало училась музыке из-за войны, а потом из-за переезда на Западную Украину, где у них с тетей Ирой не было такой возможности. Казнила себя: надо было вмешаться и не пускать ее туда (как будто тетя Ира с ее памятью о покойном муже согласилась бы). Помню, когда я лет в пятнадцать вдруг попробовала отпустить ногти подлиннее, она сразу же отреагировала: «Фи... длинные ногти... Хочешь, чтоб издали было видно: эта девица к инструменту даже не подходит!» Оправдываясь, я возразила, что пальцы можно ставить под тупым углом, но она назвала это с гримасой отвращения «очень дурным тоном», рассчитанным «на фокстротики». Вспоминая эти слова бабушки теперь, должна сказать, что в этом она полностью солидаризировалась с «Жизненными правилами музыкантов» Роберта Шумана: «Никогда не играй ничего модного». Но справедливости ради замечу, что понятие легкой музыки исторически изменчиво: во времена Баха к ней относили оперу, во времена обучения Магомаева – неаполитанские песни, с 90-х годов в концертной практике даже оперных мэтров Лучано Паваротти и Пласидо Доминго популярные эстрадные мелодии в симфонических аранжировках соседствуют с оперными ариями. Так что моя бабушка с самим Шуманом, безусловно, были консерваторами.

Во-вторых, причиной и побудительной силой моей ответственности служила мама с ее неосуществленной мечтой учиться музыке и неприкрытой завистью к моим возможностям. В отрочестве я всегда знала, что семья ради меня несет немалые издержки, оплачивая мое учение, и я никак не должна этого не учитывать. Совсем не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мне напоминал об этом, но я сама соображала. Зато не раз мама спокойно говорила, замечая долгое молчание пианино: «Знаешь, может, правда тебе это неинтересно, может, действительно это не твоё дело? Зачем учиться настолько?» И я тут же спохватывалась, терпеливо разучивала новый заданный нотный текст, по ее просьбе проигрывала свой последний, уже зачтенный «репертуар», и она приговаривала: «Вот видишь сама, сколько это доставляет удовольствия! Как же я тебе завидую! Ну-ка я сейчас попробую сыграть хоть вот этот отрывок!» И садилась сама за инструмент, наигрывая по слуху понравившуюся мелодию. Перед отчетным концертом я шла за бабушкин рояль и

проигрывала свою программу там, а бабушка была сначала консультантом, а потом экзаменатором, и не скажу, что строгим. Если слушали наши мужчины, то обязательно «поддавали жару». Бывало, дядя Ваня, стоя с Танюшей на руках, говорил: «Оцэ гарно! Дывысь, доню, та слухай: и ты колысь гратымэш, як наша Лида, да, доню?», а папа был в своем жанре: «Да что там Софроницкий?! Он тебе в подметки не годится!» Братец же мой все загадочно молчал, а много-много позже пояснил: «Когда ты разучивала какое-то трудное место или разыгрывала то гаммы, то свои арпеджио, я радовался, что это не я, а когда ты играла уже готовое и руки быстро-быстро бегали и возникала музыка, я так завидовал!» Думаю, в этом он был совсем не оригинален. Не случайно про Россини рассказывают соответствующий анекдот. Будто он рассматривал экспонаты своего знакомого, экстравагантного коллекционера, собиравшего модели средневековых орудий пыток, и сказал: «У тебя хорошая коллекция, но недостает самого большого и известного экспоната». «Какого?» – живо заинтересовался собиратель. «Да фортепиано!» – ответил Дж. Россини.

Была и третья причина, которая со временем стала главной: при всем легкомыслии я сама никак не могла отказаться от той системы ценностей, которая была заложена в раннем детстве. Помню, что гордилась своей нотной папкой, которую стала носить с собой в школу (поскольку училась во вторую смену, сразу после музыки шла на обычные свои уроки). До этого весь третий класс волочила за собой старый огромный папин портфель, вмещавший и ноты, и мои книжки с тетрадками. Почему гордилась? Да, наверно, потому, что в те времена музыка была, безусловно, престижным занятием, хоть этого слова никто тогда вроде и не употреблял. Видно, в воздухе еще витали какие-то элементы дворянской культуры, к которой так привержено было поколение моей бабушки. Не случайно в моем окружении наиболее целеустремленно занимались музыкой две категории детей: из осколков «бывших» и из заметной в городе партийной прослойки новой интеллигенции. Именно к ней относилось большинство моих соучеников по «музыкалке», а позже и других моих ровесниц, причастных к музыке. Что же касается упорства, то в нашем классе учились ей сначала шестеро, окончили специальную школу только трое, дальше двинулись уже мы вдвоем, причем моя одноклассница и соседка Лера Марченко перешла на частные уроки.

Думаю, что важной была и четвертая причина моей повышенной ответственности: мне необыкновенно повезло с Ольгой Васильевной Шкляр, моим педагогом, которую я очень и уважала, и лю-



била. Она была дочерью известного в Полтаве врача-кардиолога, а ко времени моего с ней знакомства уже немолодой и очень приятной женщиной, прекрасной пианисткой, жившей вдвоем с матерью в большом частном доме с садом почти напротив музыкальной школы и недалеко от Корпусного парка. Наша школа (а позже вечернее музучилище), к моему удивлению, унаследовала большое здание моего детского садика, в котором я когда-то заливалась слезами, оскорбленная зевотой Деда Мороза во время моей поэтической декламации Пушкина. Почти все уроки проходили дома у Ольги Васильевны (2 раза в неделю), только отчетные концерты – в зале этой школы. Конечно, в здании проходили и занятия сольфеджио, хором, музыкальной литературой, ансамблями, позже – гармонией. Я была занята каждое воскресенье, кроме отдыха в летние каникулы! Только сейчас понимаю, как это тяжело – не иметь даже выходных в течение учебного года (правда, три-четыре дня ноября, а также в зимние и весенние каникулы я в будние дни отдыхала в обычной школе).

Пропустить уроки, тем более музыки? Ну уж нет, это у нас никогда не поощрялось. Колечка – еще ладно, он подхватывал инфекции, и его иногда оставляли дома. А вот я, помню, была спокойно отправлена на сольфеджио и хор с большущим затекшим глазом из-за какого-то прицепившегося ячменя. И даже наш старенький, но строгий Павел Иванович при виде моей измазанной зеленой физиономии ахнул: «О Боже, да что же у нас, изумрудная моя девочка, случилось?» Будучи уже взрослой, даже мамашей подростка, я, при случае вспомнив этот эпизод из своей жизни, упрекнула свою маму, как же это меня не пожалели. А в ответ услышала: «Да ты же была как сжатая пружина! Если бы я тебя расслабила и ты осталась, отдохнув в воскресенье и побывав в раю, где все дома, все отдыхают, да я бы открыла шлюзы твоей свободе! И ты бы бросила музыкальную школу, как бросали, по словам Ольги Васильевны, более половины начинавших учиться!»

Наши уроки с Ольгой Васильевной проходили всегда спокойно и даже весело. Несмотря на ее требования, которые я, увы, не всегда выполняла качественно, она никогда не выходила из себя, но только объясняла все огрехи и терпеливо добивалась своего. Если же я не выучивала текст, она просто говорила: «Я сейчас выйду на столько-то минут, а когда вернусь, чтобы урок был выполнен». И справедливо снижала отметку в дневнике, но низшим баллом было осмотнительное «четыре с минусом». Самое же главное мое удовольствие заключалось в том, чтобы выбрать вместе с ней новую пьеску, этюд, сонату и т.д. Тогда она садилась за

инструмент и замечательно проигрывала мне для выбора чуть ли не весь сборник (я немножко хитрила и просила еще и еще). Если останавливались на тексте, то она снова восхитительно играла его, заражая меня жгучим желанием сыграть так же.

Очень она была довольна, если я сразу же выучивала трудный текст, на следующий же урок. Тогда мы радовали маму «пятеркой с плюсом». Для этого, конечно, надо было сидеть за пианино каждый день, но я часто ленилась или не успевала из-за других дел, порой начиная заниматься только накануне вечером и рано утром. Когда же нотный текст выучивался (Ольга Васильевна рекомендовала на ночь в постели перечитать внимательно ноты глазами, но бабушка презирала почему-то этот способ, говоря, что он для ленивых, и, по-моему, напрасно), начиналась «нюансировка» – отработка всех сопутствующих указаний и символов, обучение, как она говорила, исполнительскому мастерству. В темпе Ольга Васильевна разрешала начинать играть только тогда, когда ее удовлетворяло мое исполнение, всегда опасаясь, что я «заиграю» понравившуюся вещь еще до того, как она будет доведена до нужного уровня. На этом этапе она не любила по моей просьбе снова проигрывать пьесу, так как считала, что нужно развивать индивидуальность в исполнении. Наверное, у них с бабушкой были немного разные «школы», так как бабушка все добивалась глубокого звучания каждой ноты, признавая только одну манеру извлечения звука, Ольга Васильевна же допускала и более «легкомысленное» звучание несколько разогнутыми пальцами в некоторых жанрах или отдельных местах. Но это я обобщаю сейчас, не уверена, что тогда отчетливо это осознала. Во всяком случае, вспоминаю наказания Ольги Васильевны: «Звучи рождай изнутри, Лидочка, именно из души, играй свои переживания!»; «Ну-ка легче, игривей, здесь совсем не надо глубокой философии!» («Экосезы» Бетховена); или: «Ну-ка здесь повыразительнее, еще глубже звук, еще жалобнее!», «А теперь самое бурное отчаяние, просто всплеск отчаяния! Глубже звук! Глубже!» («Жалоба» Гречанинова).

И постоянная тема: «Музыка – это не для мамы, не для бабушки, это готовишь подарок себе и на всю жизнь!»

Как и бабушка, моя Ольга Васильевна очень любила ансамбли (не исключая, что они входили в обязательную учебную программу школы). Обычно я играла с другими ее ученицами, но однажды играла и в дуэте с мальчиком-виолончелистом, очень талантливым сыном действующего священника (играли «Разлуку» М.Глинки), и с тех пор это мой самый любимый инструмент после фортепиано. Но

если у моей бабушки было много переложений для 4-х рук из симфонической музыки, особенно оперной, увертюры и финалов, то в музыкальной школе был гораздо более широкий выбор сочинений для фортепиано. В детской школе в разное время я играла в дуэте «Военный марш» Шуберта, «Приглашение к танцу» Вебера, «Февраль» Чайковского и, мне кажется, увертюру к опере «Рождественская ночь» основоположника украинской музыки Николая Лысенко (родом с Полтавщины, который запомнился, в частности, учителями – поэтом Афанасием Фетом, а позже учителями композиции – в Германии и в Петербурге, где он учился у самого Римского-Корсакова).

В 6-7 классах эти партии в 4 руки мы разыгрывали с моей одноклассницей Нелей Зубенко, которая сидела со мной за одной партой и которая, как и ее младшая сестренка, тоже была ученицей Ольги Васильевны.

Неля была очень скромная, тихоголосая и на редкость собранная девочка, легко учившаяся на пятерки, с чудесными конопушками на носу, которые ее очень украшали, а она их стеснялась. Это из-за нее, заволпив диким визгом во время отключения света, я сразу призналась Галине Петровне, что это визжала я, чтобы не подумали на бедную Нелю, сидевшую рядом. Да, я была такая глупая: как будто кто-то мог сомневаться, что это совсем не тихоня Неля испускает такие мощные вопли, а та хулиганка, поведение которой на днях обсуждали на педсовете. Неля была верным другом этой хулиганки, мы постоянно бегали то к ней, то ко мне домой репетировать свой дуэт, что почему-то несколько удивляло моего отца, который между тем восхищался ее разумом: она порой разгадывала его изощренные цирковые фокусы. Он считал, что Неля вся «пошла в маму». И дело было в том, что наши отцы оказались коллегами, правда, на разных кафедрах, но на одном факультете, и Нелин папа еще был у них секретарем парторганизации. Когда после седьмого класса их семья переехала во Львов, мы еще долго переписывались, и знаю, что Неля поступила потом в музучилище, которое окончила с отличием, и собиралась в консерваторию. Так что время для смешных папиных историй с ее отцом наступило после их отъезда.

Одна из этих невинных историй, ставшей для отца последней, на мой взгляд, в своих деталях неплохо отразила этот хронологический срез жизни в нашем государстве. Начну с того, что в пединституте бывали «дни заочника», когда для удобства студентов преподаватели ездили в райцентры области принимать зачеты и экзамены у «хвостистов». Нашего отца почему-то частенько, а может, и не без

влияния Нели, звал с собой для компании их очень вальяжный и знающий себе цену партийный вожак, и в день экзаменов им предоставляли общую большую аудиторию, обычно при школах. Когда они приехали на автобусе в Кобыляки (как же моему отцу нравилось это название райцентра, всегда настраивающее его оптимистически), то первым делом практичный Тарас Иванович, высокий и тогда уже импозантным весом, своей величавой поступью завел его, конечно, на базар, где, как всегда, покупал то, что более выгодно, чем в городе. Сало и яйца – в этих главных объектах торговых поисков партийного секретаря невозможно было сомневаться. Выбрав те, что подешевле, да еще и со вкусом на торговавшись (а это на Украине всегда было искусством), Тарас Иванович сложил их в привезенную с собой большую плетеную корзину, и, по отцовским словам, два «шибко ученых» преподавателя при галстуках отправились представляться директору школы, который, ничуть не удивившись странной ноше и увидев удостоверение (лектора обкома партии, что ли), тут же залебезил и засуетился, освобождая класс от детей.

Студенток оказалось немного, и экзаменаторы расселись в разных углах помещения. За учительский стол, конечно, воссел главный из них, с корзиной, а на последней (детской?) парте прилежался второй, худой и не столь практичный. Еще когда шесть-семь студенток готовились отвечать по билетам историю партии, секретарь занялся своим делом: перераспределил все яйца на одну сторону почетно-настойной корзины и решил их спокойно проверять на свежесть, рассматривая каждое на свет. Папа думал, что это занятие он бросит, когда начнутся ответы. Но нет. Отвечающая робко жалась и жалко лепетала о съезде индустриализации, снова и снова повторяя «звит (отчет) товарища Сталина», заискивающе и преданно ловила взгляд Тараса Ивановича и наконец совсем застопорила: «Таким чином, таким чином, на чотырнадцятом зйизди, який видбувся... видбувся... в роци... в роци...» В эту минуту Зевс-педагог как раз рассматривал яйцо, прищурился одним глазом и закрыв другой, и важно комментировал: «Цикаво, цикаво... так у якому роци... видбувся цэй зйизд?» Несказанно обрадованная его манипуляциями, студентка мгновенно развернулась на 180 градусов, увидела подсказку подружки на пальцах и, вооруженная этой датой, гордо выпрямилась и уже дерзко ждала его испытующий взгляд. Но тут Зевс громко и от души крикнул: «От чортова баба!!!» и, очень расстроенный, отложил яйцо на стол. Потом он быстро разделался с неузнаваемо оживленной девушкой и обратился к ос-

тальным: «Та шо цэ вы, дивчата: чи вы живи, чи вы мэртви? А ну швыдче, швыдче!» Пока папа опрашивал двух своих первокурсниц по введению в языкознание, секретарь успел расписаться в шести зачетках и отложить почти столько же забракованных яиц с возмущенными воплями «От змия!», «От стэрво!», «От падлюка!», ничуть не стесняясь ни девушек, ни коллеги. Когда же после их ухода он, встав и поставив корзину на стул, разгребал подуставшую спину, одно из беспризорных яиц передумало лежать на пустом столе смиренно и растревожило своих собратьев. В общем, яйца рухнули на пол, и тут же по накаленному солнцем классу разнесся жуткий сероводородный «аромат». Студентки его уже не чуяли, быстро и радостно исчезнув. Тут, к облегчению Тараса Ивановича, появился знакомый немолодой директор со своей лебезящей улыбкой, который жаждал личного общения, и отцу стало трудно определить, от чего его затошнило и вынесло за дверь: от тухлых ли яиц или от пресмыкающегося, который услужливо суетился вокруг фигуры «патрона», обтирая его туфли своим платком (!).

Разумеется, замечательная девочка Неля ничем не напоминала своего отца, может, действительно пошла в маму, и в данном случае это росло уже совсем другое поколение, и нередко росло из далеко не благовонной почвы... А может быть... здесь и диалектическое отрицание отрицания?

Возвращаясь же к моим фортепианным занятиям и достижениям, назову только ту программу, которую запомнила на выходе из детской музыкальной школы: это был этюд Мошковского «Осень», соната Гайдна №12, прелюдия и трехголосная fuga Баха №2 и, если не ошибаюсь, «Элегия» Лысенко (№3).

Сейчас не могу вспомнить определенно, были ли у нас какие-то испытания по теоретическим дисциплинам при выпуске из детской музыкальной школы. Они у меня в памяти слились с какими-то экзаменами в вечернем музыкальном училище, куда меня сразу же перевели или зачислили без вступительных испытаний. Эти занятия я помню гораздо лучше. Особенно любила музыкальную литературу. Еще бы не любить, если каждая лекция об отечественных или зарубежных композиторах-классиках тогда обязательно сопровождалась иллюстрирующей игрой концертмейстера на рояле, иногда инструментальными дуэтами и трио самих учащихся. Раза три, к нашему восторгу, у нас играли и приглашенные ансамбли музыкантов филармонии.

Играли нам не просто так: надо было запомнить и потом узнавать основные, самые известные

темы из опер, симфоний, больших фортепианных форм. Это теперь можно двинуть мышкой компьютера и заказать почти что любую музыку. Тогда же это было огромной проблемой, тем более в провинциальной Полтаве. Нередко мы обступали концертмейстера (она восхищала всех нас своим умением играть с листа), чтобы просить повторить еще и еще. Дома меня часто походя «натаскивали» мама и тетя Мара, знающие великое множество арий и с удовольствием мурлыкающие их по заказу. Бабушка, кажется, считала все это несерьезным и поверхностным, у нее всегда была забота – не упустить послушать музыку вживе, даже в нашем городском саду на Первомайском, где на открытой сцене нередко гастролировали оперные труппы (смутно, но помню свои впечатления от оперы Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» и «Тоска» Дж. Пуччини).

Но все равно я думаю, что для возбуждения инструментального «аппетита» мне было крайне полезно иметь ориентиры в мире музыки и заранее узнавать классику вроде, например, шедевров Бетховена «Патетической» и «Лунной» сонат задолго до того, как к ним научилась прикасаться, причем именно для того, чтобы знать, к чему тянуться. А если даже и не прикасаться, то как же обделен ребенок, который в XXI веке не получил возможности услышать, прочувствовать и запомнить, к примеру, знаменитую тему судьбы из Пятой симфонии Бетховена!

И вообще к старости мне кажется, что лишать детей музыкального образования негуманно, хотя понимаю, что владеть инструментом все же не обязательно.

Что же касается музыкальной жизни в нашей стране конца 40-х – начала 50-х годов, то мое восприятие ее в это время для меня во многом, как ни странно, шло и от отца. Это он обратил мое внимание и по-своему комментировал постановление Политбюро ЦК ВКПб на этот счет. Дело в том, что в начале 1948 года газета «Правда» опубликовала постановление об опере Вано Мурадели «Великая дружба», где осуждался формализм в музыке на примере этой оперы. Оказывается, в ней по сюжету в борьбе с русскими им противостояли грузины и осетины, а не чеченцы и ингуши, как это было, по словам постановления, в 1918–1920 годы. Если сюжет осудили как «антиисторичный», то музыку к нему – как почему-то «непонятную народу». В «антинародном художественном направлении» музыки тогда обвинили и А.Хачатуряна, и самых известных тогда и талантливых композиторов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Виссариона Шебалина и других, а все музыкальное руковод-

ство сняли со своих постов. Из папиных же тогдашних комментариев я совершенно четко поняла, что «непонятным народу» остался не только «формализм» в музыке, но и само постановление.

Так, не забывая еще один отцовский рассказ уже о государственном экзамене по украинской литературе все на том же заочном отделении, на этот раз в самой нарядной и торжественной аудитории Полтавского педагогического института, где папа тоже восседал за столом как член государственной комиссии.

На этот раз напротив сидела не молодая девушка, а вполне зрелых лет учительница, которая очень свободно, громко и убежденно излагала свой ответ на экзаменационный вопрос «Останни постановы Политбюро про мистецтво» (Последние постановления Политбюро ЦК ВКПб об искусстве).

Бойко расправившись с постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград», умело цитируя доклад Жданова и его убойные характеристики сатирика Зощенко и поэтессы Ахматовой, она перешла к партийному руководству в музыке. Именно здесь она «блеснула» тем, что знала связь оперы Мурадели с городом Сталино (ныне Донецком, где прошла премьера, но она не поняла этого, хотя что-то и слышала от преподавателя), и далее стала с большим пафосом критиковать героев оперы как своих земляков, противостоящих Комиссару, посланцу от Ленина (в сюжете его прообразом

был Орджоникидзе). Комиссия слушала выпускницу благосклонно, но под конец несколько озадаченно. И тут ответственный за подготовку студентов «выкладач украинської літератури» осторожно поинтересовался: «Пробачтьє, але що цє такє, по-вашому, опєра?» – «Як що? Цє така **контррєволюційна організація!**»

Этот ответ, думаю, очень «украсил» для членов комиссии тягучий опрос выпускников, а дома для меня послужил неожиданно замечательной иллюстрацией «антиформализма» и в музыке, и в партийном руководстве ею.

И все же мне непонятно, как в эту дотелевизионную эру, в век развитого литературно-музыкального радиовещания, когда на волнах эфира систематически транслировали классическую музыку, причем не в малых масштабах, учительница и студентка-заочница обнаружила такое чудовищно-девственное неведение в вопросах искусства? Не исключаю, что в этой истории нашел свое отражение уровень общей культуры рядовой сельской интеллигенции в начале послевоенных лет...

□

### *Лидия Владимировна Савельева*

*родилась в Подмоскowie.*

*Детство провела в Полтаве.*

*Окончила филологический факультет*

*Ленинградского университета, аспирантуру  
под руководством профессора М.А. Соколовой.*

*50 лет проработала старшим преподавателем, доцентом,  
профессором, заведующей кафедрой русского языка*

*Карельского педагогического вуза  
(института, университета, академии).*

*Доктор филологических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки Республики Карелия и РФ.*

*Награждена орденом Дружбы.*

*Автор 6 книг, более 230 публикаций  
в центральной («Филологические науки», «Вопросы языкознания»,  
«Русская речь», «Русский язык в школе», «Мир русского слова» и др.),  
академической и региональной печати России,  
Сербии, Украины, Белоруссии, Израиля.*

